



Интервью с Андреем Николаевичем АЛЕКСЕЕВЫМ

«РЫБА ИЩЕТ ГДЕ ГЛУБЖЕ, А ЧЕЛОВЕК – ГДЕ НЕ ТАК МЕЛКО...»

Алексеев А. Н. – окончил филологический факультет ЛГУ, кандидат философских наук, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология средств массовой информации, культуры, производства, образа жизни, методология и методика социологических исследований. Интервью состоялось в 2006 году.

Ни я, ни Андрей Алексеев не помним, почему полный текст этого интервью не был опубликован. И прежде всего, я благодарен Алексееву за то, что он обнаружил этот текст в своем электронном архиве. При подготовке к публикации этот пятилетней давности материал не редактировался, лишь были добавлены заголовок, несколько подзаголовков и пара примечаний.

Первые интервью настоящей коллекции были проведены в 2005 – 2006 годах, и конечно, публикуя их сейчас, надо было бы их дополнить информацией собственно биографического характера, указать новые исследования, проведенные моими собеседниками, и книги выпущенные ими. К сожалению, я не могу этого сделать. Но, надеюсь, что либо сами герои моих интервью продолжат описание своих жизненных траекторий, либо историки советской/российской нарастят собранный мною архив биографий.

Правда, Андрей Алексеев – отчасти – уже «надстроил» рассказанное мне в 2006 году. В 2010 году совместно со своим другом и коллегой Романом Ленчовским он опубликовал 4-х томник «Профессия – социолог»¹, в котором представлены итоги нового социологического исследования и, одновременно, есть описание новых коллизий его богатой событиями жизни.

1 Алексеев А. Н., Ленчовский Р. И. Профессия – социолог (Из опыта драматической социологии: события в СИ РАН 2008 / 2009 и не только). Документы, наблюдения, рефлексии. Тт. 1-4. СПб.: Норма, 2010.

Алексеев А. Н. «Рыба ищет где глубже, а человек — где не так мелко...»¹

Набросок биографического интервью

В 2006 г. Борис Докторов, тогда еще только начинавший свой замечательный и теперь уже знаменитый проект истории советской / российской социологии «в лицах», обратился ко мне с предложением о биографическом интервью. Как и все другие его интервью (теперь их уже более 50), оно проводилось *on line*, путем электронной переписки. Мы с увлечением вникали в перипетии житейской и интеллектуальной биографии интервьюируемого (то есть меня) и добрались где-то до середины «земного пути».

Потом отвлекли какие-то неотложные заботы, дело не довели до конца, ограничились публикацией лишь одной, не биографической части интервью — «Познание через действие (Так что же такое «драматическая социология?»); (Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2006, 5).

Сейчас, почти случайно обнаружив этот набросок в электронном архиве, я подумал, что он может представить интерес в контексте всего исследования зарождения и развития советской социологии, вот уже несколько лет осуществляемого моим коллегой. И я охотно вручаю ему этот текст, кстати, им же самим и скомпонованный, «сверстаный» из нашей переписки, а я, ничего в нем не меняя, добавил сегодня лишь общий заголовок, несколько подзаголовков и пару примечаний.

А. Алексеев. Июль 2010.

Все мы родом из детства, могу я попросить тебя вспомнить о семье, о тех ранних годах?

...Будучи в основном «домашним ребенком», никогда не посещавшим детский сад, да и в школу пошедшим (в военные годы) чуть ли не с четвертого класса, я не могу указать на сколько-нибудь серьезные ранние социализационные влияния, кроме родительских. А родительская семья представляла собой своего рода «единство противоположностей», причем не вполне устойчивое.

Мать (Варвара Петровна Пузанова), петербурженка, была родом «из дворян», правнучка знаменитого металлурга, изобретателя русского булата П. П. Аносова. Отец (Николай Николаевич Алексеев) — «из крестьян» или «из мещан» (скорее последнее, т. к. его родители жили в г. Рыльске, Курской губернии).

Мать окончила относительно привилегированную Екатерининскую гимназию и имела разнообразные гуманитарные наклонности, впрочем, профессионально никак не реализовавшиеся, поскольку уже после революции училась в Технологическом институте. Она сделала определенный вклад в теорию машиностроения, автор нескольких книг (ее первая — «Допуски в тракторостроении» — была издана еще до моего рождения, а вторая — курс лекций — когда мне было 5 лет); но только в 50-х гг. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ размерных связей механизма как основа для протановки размеров в рабочих чертежах».

Отец же про себя говаривал, что у него имеется «высшее образование без среднего». Способный инженер-практик, он практически всю жизнь проработал на заводе им. Ворошилова (сейчас — «Звезда»). Последние 10–15 лет, до выхода на

¹ Впервые опубликовано на сайте проекта «Международная биографическая инициатива» <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/interviews/alekseev_06.htm>.

пенсию в 60-х гг. работал там главным технологом. Было у матери с отцом и творческое содружество, одним из плодов которого оказалась совместная книга «Размеры и допуски в машиностроении». Писала, конечно, мать, а отец позже шутил: «Надо мне хотя бы прочитать свою книгу...».

Мать была достаточно аполитична (хоть мы с нею почти никогда не обсуждали эти темы, могу предположить, что то была форма «внутреннего диссидентства», распространенного среди уцелевших от репрессий интеллигентов из ее поколения). Отец же рассказывал, что в 20-х гг. он какое-то время был чуть ли не секретарем партийного комитета, пока не спохватились, что он не член партии. Много позже ему, по служебному положению, и надо бы вступить, да он все отшучивался: – Я еще не созрел, не все понимаю!.. – Чего же Вы не понимаете, Н. Н.? – А вот не понимаю, как это получается: один член партии – г-но, другой – г-но, а в целом партия – руководящая сила!» (По другому варианту: “ум, честь и совесть”... Может, и прихвастнул, когда рассказывал, но так или иначе – от него отстали). Впрочем, и полное собрание сочинений Ленина (3-е издание в красной обложке), и многолетний комплект журнала “Большевик” (затем – “Коммунист”) в домашней библиотеке были.

Мать была типичным интравертом, отец – экстравертом. Мать – считала себя как бы человеком “из прошлого века” (она родилась в декабре 1899 г.; характерно, что для души она читала почти исключительно старых французских авторов, причем в оригинале); отец же – на 4 года моложе матери – типичный “сын XX века”. Мать – была жестка в моральных требованиях к себе и другим, всегда сдержана в выражениях; отец же, как мне кажется, бывал порой недостаточно самокритичен и “за словом в карман не лез”.

С общественной активностью у отца сочеталась конфликтность на работе. Мама часто помогала ему в разрешении этих конфликтов тем, что сочиняла за него безупречно корректные служебные записки. Выручал его также безупречный авторитет профессионала.

Оба инженеры-технологи, мать была по преимуществу теоретиком, отец – практиком. (Интересно, однако, что автомобиль “Победа”, приобретенный в начале 50-х, водила именно мать, а отец научился управлять уже только после ее смерти в 60-х гг.).

...Мы с матерью вернулись в Ленинград из эвакуации вскоре после снятия блокады в 1944 г. Отец – несколько позже, вместе с оборонным заводом, на котором работал во время войны.

И тогда уже, говоря твоими словами, начались иные социализационные влияния?

Мать уделяла единственному сыну очень много внимания до тинейджерского возраста. И фактически заложила культурный багаж, который действовал и во время школьного обучения, и в вузе, и дальше, но со временем оказался мною не то, чтобы растрочен, но явно недостаточно приумножен. Так или иначе, но и школьная золотая медаль, и очень нестандартный в ту пору аттестат зрелости, куда были вписаны три иностранных языка: английский, французский, немецкий, да и “академическая компонента” Сталинской стипендии в Университете (другая компонента – общественная, комсомольская активность) – все это в основном последствия (инерция?..) раннего домашнего образования и материнского влияния.

Примерно после 7-го класса мать полностью прекратила всякую надо мной “опеку”: приготовление уроков, занятия спортом, круг общения, круг чтения – никак ею не контролировались. И тем не менее, в конце школьного периода у меня стал назревать какой-то протест против “мамино” воспитания. Под влиянием школы, пионерского лагеря, других внешних воздействий, оно стало казаться мне слишком “камерным”.

Так случилось, что окончил школу я, когда мне еще не исполнилось 16, и поступал в университет, не успев получить паспорт... Возможно, мать прочила мне “академическую” карьеру. Хотя я и окончил славянское отделение филологического факультета, но полиглотом не стал, а лингвистика вскоре показалась слишком скучной и сухой наукой... То ли дело комсомольская жизнь, общественная работа, студенческие стройки! Стоит напомнить, что гуманитарное образование тогда (первая половина 50-х) было крайне идеологизированным. Стремясь “приблизиться к реальной жизни”, я воспользовался возможностью закончить также и отделение журналистики. И распределение получил по этой второй, тоже записанной в мой диплом специальности.

Думаю, что став журналистом, я последовал скорее не по материнским, а по отцовским стопам, только что не в инженерно-технической, а в общественно-гуманитарной сфере. Лишь много позже (когда матери уже не стало), я понял, сколь глубинным и долгосрочным было ее влияние на всю мою последующую жизнь.

...Вообще, воспитательная установка матери была, я бы сказал, “культурно-нравственной”. Все идеологические ценности черпались мною извне семьи (школа, университет, комсомольская работа). Общечеловеческие же ценности имели своими первыми и главными истоками семейное общение и “необязательное” чтение. Вот этот противоречивый симбиоз общечеловеческих и идеологических ценностей, думаю, способствовал возникновению такого жизненного “аттрактора”, как социологическое знание и действие.

Пожалуй, я здесь слишком “умствую” и концептуализирую свою жизненную историю. А может и упрощаю, элиминируя большое количество факторов. Но это всего лишь модель, понятно, не исчерпывающая всего богатства жизни, однако обладающая определенной объяснительной силой.

Из журналистов в социологию

Что тебя, как я понимаю, вполне успешного журналиста, толкнуло в социологию?

Было это в 1965 г. Позади лет восемь работы после окончания университета, в основном в молодежных газетах, правда, с трехлетним перерывом (1961–1964) на первое “хождение в рабочие”. Считать меня “успешным” журналистом, в карьерном смысле, пожалуй, можно было. Во всякой редакции (тут и “Волжский комсомолец”, и “Смена”, и “Ленинградская правда”...) я довольно быстро вырос до “бригадирской” должности (сам пишущий, а не только “руководящий” зав. отделом в газете – что-то вроде бригадира в цехе). Но качество журналистского творчества, скажем, заведующего отделом комсомольской жизни было на уровне самой этой жизни.

Помнится, немногие более-менее приличные публикации в газете “Смена” состоялись уже в период работы на Ленинградском заводе по обработке цветных металлов, затем – на Волховском алюминиевом заводе. Причем материал для этих публикаций собирался не на своем предприятии, а в других местах, – днем, после ночной смены. Предметом моих журналистских филиппик в конце 50-х – начале 60-х гг. были “формализм в комсомольской работе”, “бюрократизм и волокита”, “бездушное отношение к людям”, “самодурство начальника”, “преследования за критику”... В “Ленинградской правде” (уже 1964–1965 гг.) довелось написать и опубликовать несколько действительно проблемных материалов, посвященных начавшейся реабилитации генетики, административным препонам внедрению научно-технических разработок, конфликтам в производственных коллективах.

Вообще, “партийно-советская пресса” влачила тогда довольно жалкое существование – “на коротком поводке” у партийных властей, со строго отмеренными объектами похвалы и критики. Эта “связанность рук” (при том, что иначе, в общем-то и не умел...) тяготила. Профессиональная идентификация расшаталась. Разочарование

усугублялось тем, что эффективность проблемных выступлений (когда таковые все же случались) была минимальной, а зачастую и обратной.

Помнится, еще работая в “Ленинградской правде”, я догадался подсчитать, во сколько раз количество газетных сообщений “по следам наших выступлений” (за определенный период) меньше, чем соответствующее количество самих критических выступлений. Оказалось, почти в пять раз! Пару лет спустя, уже будучи аспирантом, получил “научно оснащенное” подтверждение этого первоначального, грубого наблюдения, включив в обследование несколько ленинградских газет.

Интересна тогдашняя авторская интерпретация этих результатов исследования “гласной действительности” (термин – мой): мол, со всей очевидностью нарушается принцип, впервые провозглашенный в одной из резолюций Восьмого съезда РКП(б) (1919): “Лица или учреждения, о действиях которых говорится в печати, обязаны в кратчайший срок дать на страницах той же газеты деловое фактическое опровержение или же указать об исправленных недостатках и ошибках”. И в последующих партийных документах это требование извещать о результатах критики неоднократно подтверждалось (вот, например, в постановлении ЦК КПСС “О повышении действительности выступлений советской печати”, 1962 г.)... Стало быть, налицо разрыв между партийной нормой и ее осуществлением!

Разрыв между декларациями и жизнью – в этой ли, в других ли областях – стал предметом моего преимущественного интереса журналиста, нацелившегося в социологию.

Ты упомянул твое первое трехлетнее «хождение в рабочие», не мог бы ты рассказать о нем чуть подробнее?

Оно состоялось после пяти лет работы в молодежных газетах и было своеобразной попыткой преодолеть издержки то ли “камерности семейного воспитания”, то ли “абстрактности идеологических догм”. Вот “не хлебнул лиха” в детстве – дай-ка хлебну... Вот “воспевал” бригады коммунистического труда – а каково там в самих этих бригадах?..

Кто едет “за туманом и за запахом тайги...”, а кто ищет “ту заводскую проходную, что в люди выведет меня...”. Я предпочел второе.

Интересно, что в это же самое время Вадим Ольшанский предпринял первый в советской социологии опыт включенного наблюдения в качестве рабочего на одном из московских заводов. Из его воспоминаний видно, что молодой социолог В. О. был движим в общем-то теми же романтическими побуждениями, что и молодой журналист А. А. “В те месяцы я заново должен был разобраться в жизни, в себе самом. Это главный итог “включенного наблюдения”, социологической аспирантуры”, – пишет мой старший коллега (Ольшанский В. Б. Были мы ранними... / Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. СПб., 2000, с. 184).

Работа вальцовщиком на одном заводе, потом электролизником на другом продолжалась около 3-х лет, пока не вернулся (правда, ненадолго) к штатной журналистской работе. Эти мои “рабочие университеты” к 30 годам как бы закончили период “первоначальной” социализации, надо сказать, изрядно затянувшийся.

Вернемся к твоему движению в социологию. Только внутренние причины к тому были или существовали и внешние обстоятельства, конфликты?

Да, по времени это примерно совпало с моим первым крупным конфликтом в редакции “Ленинградской правды”, точнее с отделом агитации и пропаганды Обкома КПСС. Меня, подающего надежды литсотрудника Обком партии утвердил на номенклатурную должность заведующего отделом промышленности главной ленинградской газеты, а я, несколько месяцев спустя, “пригрозил” уходом по

собственному желанию, если не будут защищены от расправы за критику авторы так и не опубликованного письма в редакцию, где обсуждался “порочный стиль руководства” тогдашнего директора того самого завода, на котором я прежде трудился в качестве рабочего.

Из заведующих – за такую “политику отставок” – меня быстренько разжаловали, но и в спецкоррах я после этого продержался недолго. А мой бывший сокурсник по Университету, к тому времени – доцент факультета журналистики ЛГУ Валентин Соколов “сосватал” меня в аспирантуру для занятий “социологией журналистики”.

Из социологов я был тогда лично знаком только с Овсеем Шкаратаном, который, помнится, еще в конце 50-х, в качестве историка, предложил газете “Смена” опубликовать письма ленинградцев, уехавших на целину, а я приложил все усилия, чтобы публикация состоялась без какого-либо журналистского “причесывания”. Обратился к нему за советом, после чего был приглашен домой к Андрею Здравомыслову (был там и Овсей), где получил от обоих своего рода благословение на исследование взаимосвязи прессы и общественного мнения и т.п.

Как это обычно бывает, жизненная (в данном случае – профессиональная) перемена имела как внутренние импульсы, так и внешние стимулы. От прежнего многое отталкивало, к новому – привлекало. Личностная мотивация и стечение обстоятельств вместе дали эффект “перехода”.

Не мог бы ты вспомнить твои аспирантские годы?

Миграция из журналистики в социологию оказалась не прямой, а опосредованной трехлетним пребыванием в аспирантуре факультета журналистики. Тогда это было явно не лучшее место для занятий социологией. Чуть ли не азбучным полагалось там утверждение, что журналистика сама по себе есть “наука”, а не род деятельности, являющийся предметом научного изучения, с чем я упорно не соглашался. “Массовая коммуникация” считалась в этих стенах идеологически подозрительным термином. Особенно я “прокололся”, когда в докладе на какой-то научно-практической конференции неосторожно поделился результатами своих библиотечных разысканий в области советской социологии печати 20-х гг., ведущие фигуры которой М. Гус и В. Кузьмичев (первый – автор книги “Газетоведение”, второй – автор книги “Организация общественного мнения”) были, оказывается, на факультете журналистики под идеологическим запретом, ну вроде Бухарина с его “Азбукой коммунизма”. Интересно, что позднее мне довелось встретиться с тем и с другим. Первый – жил в Москве, другой – в Томске; идеологическим мракобесием обоих старичков, успевших “перестроиться” за протекшие 40 лет, я был глубоко разочарован.

В общем, между будущим “социологом печати” и деканом факультета (историк и теоретик партийно-советской печати проф. А. Бережной) возникло что-то вроде конфликта (научно-идеологического!). К концу аспирантуры стало окончательно ясным, что ни о какой защите диссертации на факультете журналистики ЛГУ для меня и речи быть не может, равно как и о работе там по завершении “целевой” аспирантуры. И слава Богу!

При своем базовом филологическом образовании я старался как-то восполнить дефицит систематических знаний, обычно приобретаемых на философском факультете. Слушал не только лекции Ядова или Кона (на последнего сбегался чуть не весь университет), но и историю философии, диалектическую логику, статистику, даже линейную алгебру (похоже, что и на матмех забирался). Этакий “ликбез” себе устроил, только что без сдачи экзаменов...

По счастью, Ядов согласился разделить руководство (впрочем, весьма условное) моей диссертационной работой на тему о социологическом изучении массовой коммуникации (на примере прессы) с доцентом факультета журналистики, “чистым”

филологом С. Смирновым. Впрочем, “болтаясь” между факультетами журналистики и философским, я был тогда, наверное, равно “не своим” и там, и тут. Причем очень хотел числить себя по “классу социологии”.

Еще одна удача: возникшие связи с социологической лабораторией (не помню, как точно она называлась; во главе с Евгением Прохоровым) на факультете журналистики Московского университета. Моя первая относительно значимая публикация (“К вопросу о предмете социологии печати”) появилась в “Вестнике Московского университета” (серия “Журналистика”) в 1967 г. Тем самым я мог себя чувствовать как бы не совсем “чужеродным телом” и в науке о журналистике.

Исключительно значимыми для вхождения в социологический круг были контакты, возникшие на межрегиональных, хотя тогда так и не назывались, встречах исследователей массовой коммуникации в Кяэрику, организуемых Юло Вооглайдом и его коллегами из лаборатории социологии Тартуского университета (1966, 1967, 1968 гг.). Кяэрику воспринимался и как “заграница”, и как социологическая “родина”, и как “островок Свободы”. Оттуда пошла моя дружба с эстонскими, московскими, уральскими, сибирскими социологами.

Думаю, мое приобщение к социологии было бы куда более скорым и эффективным, попади я сразу в коллектив, занимающийся крупным исследованием (вроде ядовского или грушинского). Но это состоялось позднее – в новосибирском академгородке, в межведомственной исследовательской группе социологии печати, созданной В. Шляпентоном.

Спасибо, пути и мотивы твоего перехода из журналистики в социологию прояснились...

... Говорят, рыба ищет “где глубже”, в шутку скажу: рыба ищет, где “не так мелко”... Перемещение в социологию состоялось тогда, когда в журналистике стало вроде бы “невмоготу”. Занятия социологией показались тогда более осмысленными – и в плане познания реальности, и в плане возможностей “влиять на ход вещей”. Впрочем, тоже – до поры до времени (см. ниже – рассказ об уходе из института на завод – “в поисках свободы”).

Замечу, что грань между социальной журналистикой и социологией вообще достаточно подвижна. “Родственной нам наукой” когда-то назвал социологию замечательный публицист В. Канторович. В одном из моих “Писем Любимым женщинам” (1981 г.) выдвигается что-то вроде гипотезы “о динамическом взаимодействии и взаимокompенсации журналистики и социологии в процессе общественного развития”:

“...50-е гг. – “прорыв” журналистики (после XX съезда), отсутствие социологии. 60-е гг. – “прорыв” социологии, “стабилизация” журналистики (особенно – во второй половине десятилетия). 70-е гг. “стабилизация” социологии, а к концу 70-х, может быть, намечающийся “прорыв» журналистики. “Прорыв” – существенное углубление в познании, гражданственная активность, ломка старых норм, зарождение новых форм. “Стабилизация” – экстенсивное развитие.

Можно сказать и так: периодам экстенсивного развития в одной из двух сфер социального отражения (социология, журналистика) должны соответствовать периоды определенной интенсификации развития другой сферы. <...> Журналистика и социология – своего рода тандем. Лидеры меняются местами в пределах одной команды, обеспечивая ее успех” (Алексеев. А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма, 2003, с. 222).

Если же говорить о мотивации собственных жизненных движений, то получается, что эта мотивация скорее негативная, чем позитивная. Я понимаю, бывают жизненные цели, и даже жизненные планы, вроде окончания вуза, защиты диссертации или

приобретения квартиры. Но сверхзадачалишь ретроспективно может быть осознана как таковая. А эмпирически, если “без затей”, то просто видим – “человека убегающего”. Откуда убегающего – более ясно, чем куда. “Убегающего” – в поисках свободы ли, максимального самовыражения ли, общественной ли пользы...

(Как тут не процитировать одного из твоих героев: “...Должен сознаться, что в моих поступках присутствовало стремление к общественной пользе, как я ее понимал...”; в свою очередь, признаюсь, что подобного осознанного стремления в себе мне усмотреть так и не удалось).

Ленинград – Новосибирск – Ленинград. Вроде уже вполне социолог.

В 1968 г. ты закончил аспирантуру. Что дальше?

Дальше – несколько везений подряд. Харчев, слушавший мой доклад в Кяэрику про “массовую коммуникацию, журналистику, прессу” (попытка навести какие-то мосты между социологией и “наукой о журналистике”), соглашается взять к себе на Ленинградскую кафедру философии (впоследствии преобразовалась в Ленинградские сектора Института философии). Уже принятый туда, пишу какой-то трактат о подходах к социологическому изучению искусства. Вроде Харчеву нравится. И тут вдруг мне звонит из Новосибирска Шубкин и энергичным голосом приглашает в Академгородок, заниматься... социологией печати!

Позднее где-то Шубкин вспоминал, что сначала безрезультатно приглашал на это место Леонида Гордона. Что для меня, думаю, честь, а не предмет обиды.

До этого мы с Владимиром Николаевичем знакомы не были. Скорее всего глаз на меня положил Шляпентох, приехавший из Новосибирска в Кяэрику в том же году. Как известно, он был организатором первых исследований всесоюзных аудиторий газет “Труд”, “Известия”, “Литературная” и “Правда”. До чего ж заманчиво для бывшего аспиранта факультета журналистики!

Неловко перед Харчевым, но “отпрашиваюсь” у него. Тот говорит: “Если надумаете вернуться, учтите, что два года я Вас жду”. (Так и вышло).

В Новосибирский академгородок приехал с чемоданом, набитым экземплярами 1000-страничной (так!) кандидатской диссертации. Шубкин смеется: “Если хотите, чтобы ее кто-то стал читать, сократите хотя бы до 300 страниц” (теперь, говорят, и 150 много).

Состою в штате Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук. Работаю же фактически в дислоцирующейся в этом институте группе социологии печати, при Новосибирском университете, у Шляпентоха. Там у меня появляется своя подгруппа контент-анализа (мое тогдашнее определение этого метода: анализ содержания массовых совокупностей текстов с использованием формализованного наблюдения и статистических процедур в социологических целях). В этой подгруппе еще трое энтузиастов поиска “очевидных свидетельств неочевидного”, в частности, путем качественно-количественного изучения содержания советской прессы. Первый всесоюзный семинар по контент-анализу состоялся именно в Новосибирске... (Второй – четыре года спустя в Ленинграде).

Живу в комнате аспирантского общежития Академгородка. Переписываю свою диссертацию, уже без оглядки на журналистику, ведь защищать-то придется в ученом совете по философии.

Только я приехал в Новосибирский академгородок, Шубкин покидает его – возвращается в Москву. А через некоторое время уезжает в Москву и Шляпентох. Кажется, уже без него сдавали отчет по хоздоговору с “Правдой”. Для меня эта работа с социологической эмпирией была хорошей школой.

И еще повезло... Пригрела меня компания новосибирских философов. Михаил Розов, Наль Хохлов, Владимир Конев... Сказали: “Если прочитаешь вместо Володи

курс научного коммунизма в университете, засчитаем тебе кандидатский минимум по философии”.

1969 год. Академгородошная вольница уже на излете. Но я успел-таки прочитать довольно не тривиальный курс: что-то вроде “социологии развитого социализма”. В социально-философском аспекте очень помогли конспекты В. Конева. Ни с какими официальными программами ни он, ни я тогда не считались, даже не заглядывали в них... Лекции у студентов пользовались успехом. Ну, не как у Кона в Питере, конечно... Как уж это у меня тогда так лихо получалось, сам удивляюсь.

В 1970 г. благополучно защитил в Новосибирском университете свою переписанную диссертацию. Вскоре за тем вернулся в Ленинград к Харчеву. Вроде теперь уже вполне социолог.

(Последующий период 1970–1980 гг. – работа в Ленинградских секторах Института философии АН СССР, затем – в Ленинградских секторах Института социологических исследований АН СССР (лаборатория О.И. Шкаратана), потом в Институте социально-экономических проблем АН СССР (сектор, возглавлявшийся В.А. Ядовым), равно как и совместительство в Высшей профсоюзной школе культуры и сотрудничество в хоздоговорной группе «Социология и театр» при ЛО ВТО, – не получили систематического отражения в этом наброске биографического интервью.

Хотя в дальнейшем мы с Б. Докторовым по разным поводам сплошь и рядом обращаемся к событиям и обстоятельствам этого периода. Примечание А. Алексеева)

Социолог становится наладчиком

В 1980-м ты, при всем внешнем благополучии твоей жизненной ситуации и профессиональной карьеры подался в рабочие. Этот шаг был на 100% необходимым, обязательным в твоей ситуации (почему?) или все же еще был запас сил, чтобы не уходить... Как ты оцениваешь сегодня твое телодвижение?

Были для меня тогдашний уход “обязательным”? Думаю, он был своевременным, не с точки зрения давления внешних обстоятельств, а из внутреннего расположения души и состояния духа. Можно еще сказать, что это было актом поиска свободы (или – скромнее – обретения относительной независимости).

Мой тогдашний уход из социологов в рабочие (как и уход из журналистов в рабочие двадцатью годами ранее) если и был экспериментом, то скорее (больше...) жизненным, чем профессиональным. Но и тут уместно сказать: “Суди себя сам!”. Все же одно автоцитирование из “предисловия” к “Драматической социологии...” здесь себе позволю:

“...Там, где “социологу-наладчику” в его профессионально-жизненном эксперименте мнились по преимуществу жизнотворчество, активная адаптация, подчинение себе обстоятельств, – теперь, как бы между строк, словно симпатические чернила: проступают также и... характерные черты приспособления, ситуационной зависимости, подчинения себя обстоятельствам! Сам же эксперимент социолога-рабочего (самодетельная акция!) обретает новый смысл. А именно: он оказывается способом (или формой) самосохранения (внутриличностного и не только...), своего рода выживания, “вынужденной инициативы”: представляющей уже не только тактикой социального поведения, но и жизненной стратегией.

...По большому счету, обсуждаемый опыт социолога-испытателя следует трактовать не в качестве акта профессионального или жизненного “подвижничества” <...>, а всего лишь как ограниченную условиями исторического места и времени попытку жизненного самоосуществления человека. Причем ключевые смыслотворческие вопросы, к решению которых была устремлена эта попытка: в пределах данного эксперимента, как такового, оказались для автора не разрешимыми” (Алексеев А.Н.

Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма, 2003, с. 34–35).

В этом случае можно ли сказать, что, идя на завод, у тебя не было осознанной ориентации на проведение того или иного социального исследования?

Сейчас стоит, наверное, об этом заявить со всей резкостью, пусть с риском несколько подмочить легенду об “эксперименте социолога-рабочего” и т.д.

Ядов предложил мне в 1980 г., коль скоро так уж круто я нацелился в рабочие, совместительство в ИСЭПе. Согласившись (не без материального интереса...), я “обрек” себя на продолжение социологической карьеры в новом качестве. К тому же совмещение столь разных “ипостасей” в одном лице щекотало самолюбие. Тут была моя личностная и профессиональная особенность, по сравнению с моими друзьями (рабочими из социологов).

Спрашивается, а как же исследование “глазами рабочего”, “наблюдающее участие” и прочие методические (методологические?) изобретения, вроде даже в учебниках теперь упоминаемые? А никак! Наложилась смысловознательные авторские поиски на некоторые актуальные тенденции современной социологии (феноменология, акционистские методы и т.д.). Вот и получился какой-никакой “научный вклад”. Все зависит от ситуации, контекста, а также от того, “как посмотреть”. Впрочем, в этом пункте, пожалуй, слишком сильное утверждение!..

Вместе с тобою в рабочие пошли, к тому времени многие годы проработавшие в социологии, Юрий Щеголев и покойный Сережа Розет... для тебя это было драмой (отчасти отсюда возникла твоя драматическая социология), для них – трагедией (я так думаю). Ты был уже не теленком и мог бодаться..., они были послабее...

...Не одновременно, а раньше меня “пошли в рабочие” Юра Щеголев (годом раньше меня) и Сережа Розет (несколькими месяцами раньше...). Еще из нашего круга – Анри Кетегат (живший тогда уже не в Питере, а в Вильнюсе), которого на несколько месяцев опередил я.

...То был довольно немногочисленный “исход” из социологов в рабочие на рубеже 70-80-х гг., именно экзистенциальный исход, подобный миграции в сторожа и операторы котельных части литературно-художественной интеллигенции, явление – очень характерное, в частности, для Питера. Ни о каких профессионально-социологических мотивах у моих друзей, (“социологов-рабочих”) говорить, думаю, не приходится. Что же касается меня, то, при большей, чем у них, “встроенности” в научно-институциональную среду, так называемый исследовательский мотив был для меня скорее идеологическим “прикрытием”. А “под ним”, в личностном ядре – тот же кризис профессиональной и – шире – “беловоротничковой” идентификации, ну и поиск новизны, может быть, авантюризм, достаточно позднее (в 1980-м мне было как-никак 46) “самоиспытание”, пожалуй.

Дальше. Не только у Юры, Сережи и Анри, но даже и у меня не было установки на “вызов Системе”. Просто люди, достойные уважения и сами себя уважающие, живут как хотят, а систему это “раздражает”, и она начинает их “доставать” (слегка или всерьез). Тогда человек иногда (это я про себя...) начинает “огрызаться”... Ну, это в общем не требует дополнительных разъяснений.

Мне хотелось бы энергично возразить тебе насчет того, что Юра и Сережа были якобы “послабее”... и в этом их трагедия. Трагична, конечно, судьба Сережи, но в силу именно ранней кончины (1940–1994), а не в силу сделанного им на рубеже 70–80-х гг. жизненного выбора. Просто мы привыкли относить публичный конфликт с системой или профессиональные (в частности, в сфере науки) успехи, вообще – те или иные формы “внешней” самореализации, к настоящим, единственно значимым

жизненным достижениям. Но для моих друзей главным было нечто другое. И хотелось бы думать, что и для меня тоже.

«Резервация», выживание, «бессмысленная адаптация»...

На сегодняшний день можно сказать, что большая часть твоей и моей социологической карьеры состоялась в советские времена. Нет ли у тебя ощущения, что в то время ты работал в «социологическом гетто»?

“Гетто” ли, “резервация” ли, это предполагает, что вокруг – иной (не огороженный? открытый? свободный?) мир. В таком ограниченном пространстве могли себя чувствовать советские социологи относительно мировой профессиональной среды. Но при минимуме знаний о ней, у большинства рядовых, пожалуй, не было и ощущения изолированности. А “внутри”, думаю, социологам было не лучше и не хуже, чем всем другим гуманитариям, разве что сильнее зависимость от партийных органов. А в силу относительно позднего становления этой отрасли, уже не успели социологов коснуться ни “борьба с меньшевистствующим идеализмом”, ни “борьба с космополитизмом!”, ни “борьба с мухолобами-человеконенавистниками”, а в худшем случае – только обвинения в подверженности влияниям “буржуазной общественной науки”...

“Гражданские казни” или “вынужденные отставки”, которые коснулись некоторых ведущих социологов, все же не были запретом на профессию или отправкой в ГУЛАГ. А ко времени “перестройки” все так или иначе “отодвинутые в тень” лидеры нашей социологии (Левада, Грушин, Кон, Ядов, Здравомыслов, Гордон, Заславская и др.) оказались еще полны творческих сил. Я бы сказал, что если не советской социологии, как таковой, то ее первопроходцам и их непосредственным ученикам относительно повезло.

Андрей, здесь после согласования с Димой (Д.Н. Шалиным. – А. А.) я намерен привести выдержку из его письма и задать тебе вопрос о выживании...

Было ли все это “выживанием”? В общем, да. Наблюдение Дмитрия Шалина “Выжить было их сверхзадачей...” справедливо, наверное, не только для его поколения. Но вряд ли эта сверхзадача осознавалась или признавалась тогда в качестве таковой. У многих была сильна креативная, творческая мотивация. Была высокая профессиональная идентификация. Некий подспудный страх лишиться возможности “удовлетворять свою любознательность за счет государства” побуждал умеривать эту любознательность. Были некие табуированные зоны и набор писаных и неписаных правил, которые если кто и преступал, то лишь “по неосторожности”.

Среди социологов было не так уж мало инакомыслящих, но практически не было людей, сознательно и открыто ставивших себя в оппозицию системе, которую они исследовали. А если бы были, то на том бы их (таких социологов) исследования, по крайней мере, профессиональными средствами, и закончились бы. Так что можно лишь порадоваться тому, что кое-что они успели, и пусть отчасти замутненное зеркало советского общества тогда все-таки возникло (и уцелело до наших дней...)

И в “гетто” жить можно... А кому становилось уж совсем неведомо – эмигрировали, кто за рубеж, а кто в кочегарку.

Означает ли это, что мы действительно могли работать в полную силу своих способностей...?

Ты имеешь в виду то, насколько, по гамбургскому счету, существенными были как собственно научные достижения, так и общественные эффекты социологии в СССР? Было бы неправильно их принижать, но не следует и переоценивать. Признать

собственную второстепенность, маргинальность в мировом научном процессе или же сервильную (будь-то в идеологическом, будь то в прикладном плане) общественную роль – не просто. На критическое отношение к пройденному пути отваживаются далеко не все авторы сегодняшних мемуаров.

Скажу о себе. Помнится, на рубеже 80–90-х гг. мне довелось просмотреть архив собственного журналистского творчества 50-х – 60-х гг. Я испытал чувство настоящего стыда! (Некоторые характерные образцы “воспевания” бригад коммунистического труда и т.п. приводятся в “Драматической социологии...” (Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том. 4, Приложения к главе 22). Лишь на самом излете своей журналистской карьеры (середина 60-х) удалось продвинуться к журналистике, которую с грехом пополам можно назвать проблемной.

Из моего собственного социологического “наследия” конца 60-х – 70-х гг., по правде говоря, тоже похвалиться особенно нечем. Ну, попытки построения марксистской (и впрямь таковой!) теории массовой коммуникации, за которые чуть было не вылетел из аспирантуры факультета журналистики ЛГУ (вторая половина 60-х), кои, строго говоря, были метафизической спекуляцией, с некоторыми элементами “фиги в кармане”. Потом – кое-что из социологии потребления, из социологии культуры, из социологии труда, из социологии жизненного пути... Несколько социологических экспедиций (последняя была на БАМ, уже из ИСЭПа). Увлечение методолого-методическими сюжетами...

Если бы я начал составлять личное “социологическое избранное” из работ того времени, то кроме пары статей по проблемам контент-анализа, некоторых отчетов исследовательской группы “Социология и театр”, ну, может, еще пары популярных публикаций в соавторстве со Светланой Минаковой по социологии личности, да конспекта доклада “Образ жизни и жизненный процесс” 1981 г. (тогда уже на заводе работал) (Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия Том. 1, раздел 6.1) – и не нашел бы чего туда включить стоящего. Остальное – сегодня кажется безнадежно устаревшим.

Так что же это за глухое и душное время, давшее, “если приглядеться честно и строго...”, не столь уж дружные и очень разнокачественные всходы, в частности, на социологической ниве? (Оговорю, что бросать тень на выдающиеся пионерные социологические проекты и труды, например, Грушина, Шубкина, Ядова, Гордона, Заславской – я вовсе не собираюсь). Внешняя несвобода – да! Давление из ЦК, из Смольного, из райкома партии – да! (Мнение рядового инструктора райкома – для научного сообщества закон...). В частности, отсюда невероятные траты времени и сил на бессмысленную адаптацию процесса и результатов собственно-научной работы к институциональным требованиям (особенно – идеологическим, но и не только...). Наконец, собственная внутренняя скованность, постоянная автоцензура. Да и ограниченность кругозора у многих...

Пожалуй, добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано об этом, например, в историко-социологических лекциях Бориса Фирсова и в мемуарах наших научных учителей я здесь не смогу.

Не мог бы ты привести пример того, что ты называешь «бессмысленной адаптацией...»?

...Сектор Ядова в Институте социально-экономических проблем поначалу назывался “сектором социальных проблем личности и социалистического образа жизни”. Не Ядовым, понятно, придумано, а так было записано в Приложении к постановлению Президиума АН СССР от 29 мая 1975 г. (о создании ИСЭПа), предписывавшем определенную структуру секторов и отделов. Ну, еще при первом директоре Гелии Николаевиче Черкасове формулировка названия имела не такое

уж большое значение. Большинство научных коллективов сохраняло тематическую и кадровую преемственность с “доисэповской” ситуацией. Когда же наступило директорство Ивглафа Ивановича Сигова, пошла чехарда перетряски кадров, переструктурирований и переименований научных подразделений. Сектору Ядова предстояло переименоваться в “сектор образа жизни в крупном городе”, что грозило полным вытеснением из научного плана “исконно-ядовской” проблематики личности.

Недавно мне попала на глаза копия собственной “служебно-личностной” записки, адресованной Ядову (с подзаголовком: “срочно и конфиденциально”), от января 1979 г., где на семи страницах доказывались алогичность и волюнтаризм предлагаемых дирекцией названий Социологического отдела и входящих в него секторов. Среди прочего выдвигались аргументы для нижеследующего переименования, в частности, нашего подразделения: “сектор социальных проблем развития личности”.

Интересна “совсем конфиденциальная” приписка к этому документу:

“В. А.! ...Конечно, Вам никто не посмеет запретить заниматься социальными проблемами развития личности, под любым названием сектора. Но Вы всегда вынуждены будете делать это вопреки официальным требованиям, а не в соответствии с ними. Вам всегда придется доказывать, что Ваша социально-психологическая “контрабанда” является неслишком большим нарушением социально-экономического “закона”. (Намек на название отдела: “отдел социально-экономических проблем труда и образа жизни. – А. А.). Капитулировав сегодня, в положении далеко не безвыходном, сектор будет десять лет платить репарации. Если Вы считаете, что проиграли дирекции в первом раунде по конъюнктурным “очкам”, то это вовсе не мешает выигрышу во втором раунде путем логического “нокаута”. В худшем случае будет зафиксирован “протест” команды против неправильного судейства...”

По счастью, Ядов внял этому предостережению и предпринял тогда перед начальством акцию “необходимой обороны”, в результате чего сектор получил вполне приличное (лучше первоначального!) и уместное название: “сектор социальных проблем личности и образа жизни”. Но каких временных и нервных затрат стоила вся эта суета! И когда только успевали читать научную литературу, проводить исследования, писать статьи и монографии...

Ныне такого идеологического диктата и контроля, как в то время, нет. Но сил на “институциональные игры” и “ритуальные танцы” сегодня уходит не меньше. Правда, преимущественно у руководящих, а не у рядовых сотрудников. А тогда – поголовно у всех!

Правоверный комсомолец, или дурной шестидесятник

Андрей, многие годы мы с тобою были членами одной партийной организации. А как все у тебя начиналось?

Членом КПСС, как нетрудно подсчитать, я был почти 30 лет: с 1961 по 1990 г. Из них около 4-х лет пребывал в положении исключенного из партии, однако “восстановлен в рядах” был в 1988-м “без перерыва в стаже”. Вступал – добровольно, выходил – тоже добровольно, без кавычек.

Сейчас “шестидесятилетние” и старше, не состоявшие в партии (в нашей профессии таких немного, но есть), порой сообщают об этом с гордостью. А состоявшие – порой забывают об этом упомянуть. Упоминание же может сопровождаться “извинениями”... Сэтим иногда сочетается заявление о собственной ранней внутренней оппозиционности (выходит, цинизм, карьеризм...). Или же заявление о собственной прошлой коммунистической правоверности (выходит, наивность, слепота...).

То и другое (цинизм ли, наивность ли...) не украшают. Третий вариант –

“двоемыслие” как бы примиряет эти противоположности. Но и тут, понятно, нет предмета для самоутверждения... В этом пространстве самоопределений я бы отнес себя к “двоемыслящим наивнякам”. Существуют и комплиментарные определения, типа “коммунист-романтик”...

Я вступал в партию не слишком рано, но и не слишком поздно – в 27 лет. Работал тогда в газете “Смена”. XX съезд состоялся пять лет назад. До вторжения в Чехословакию оставалось еще семь лет. Сверстникам, с которыми учился в школе или в вузе, говорил: чем больше в партии будет порядочных людей, тем скорее преодолеем “наследие культа личности”...

Как раз в 1961 г. я попал в какую-то молодежную “элитную” (других тогда не было) зарубежную турпоездку в Англию. Вел там дневник – для себя. Вернувшись, прочитал его участникам поездки. Был дружно одобрен. А месяц спустя фрагменты из дневника оказались опубликованы в комсомольской газете – без какой-либо редакции под названием (мною же придуманным...) “Вкус собственной правоты”... Были в дневнике и такие строки (в газету, впрочем, не предлагавшиеся):

“Честное слово, советский человек, хоть наша собственная пропаганда порой и оглушает его (воодушевленные решениями “очередного пленума”) – действительно на голову выше человека буржуазного общества. Вот что надо сравнивать в первую очередь, а не метро или нищих на тротуаре. В конце концов нищего можно найти и там, и там”.

Несколько месяцев спустя после получения партийного билета состоялось первое “хождение в рабочие”. (Этот “побег” был замышлен, понятно, раньше...). Мое интервью о собственной молодости, записанное в середине 90-х, удачно называлось: “Слишком правоверный комсомолец, или дурной шестидесятник” (см. “Драматическую социологию...” том 4, приложения к главе 22). А вот запись из дневника от марта 1964 г. (еще работал на заводе, в газету пока не вернулся):

“...Если хочешь, чтобы люди хоть что-то восприняли из твоей, утерянной ими коммунистической убежденности, не страшись клеймить коммунистического идола, опошленного и истерзанного”.

Уже позднее, во времена аспирантуры и начала социологической карьеры состоялось первое знакомство с диссидентской литературой, начался процесс идеологического прозрения. Но и в конце 70-х, помню, произнесенное вслух перед друзьями заключение, что “монополия коммунистической партии является главным источником бед нашего общества”, было для меня выстраданным, личным открытием. Вот такое “замедленное развитие”... Не зря – “дурной шестидесятник”!

(Так ведь и в конце 80-х, в начале перестройки, сколько еще сохранялось – и не только у меня! – иллюзий о “демократической платформе в КПСС” и о “социализме с человеческим лицом”!).

По идее, на рубеже 60-х – 70-х можно было бы, по совокупности “еретических” мыслей (пусть еще смутных...), из партии и выйти. Но тут уже срабатывал инстинкт самосохранения. “Ломать себе жизнь” вовсе не хотелось... Да и зачем, когда состоя в партии, можно самореализоваться полнее, “принести больше пользы” и т.п.? Вот уже и не наивность, а механизм “двоемыслия”...

Припомни какие-либо сюжеты из твоей деятельности партийного лидера...

Был у меня тогда относительно недолгий период едва ли не экстремального испытания. При образовании в 1975 г. Института социально-экономических проблем из ленинградских филиалов нескольких московских институтов (включая Институт социологических исследований) понадобился для него (точнее – в нем) партийный секретарь, для которого, по совокупности анкетных данных, я, как видно, идеально подошел.

(Надо заметить, что в моем “досье”, похоже, остались не отраженными или не замеченными – ни скоропостижное смещение с номенклатурной должности в партийной газете 10 лет назад, ни научно-идеологические споры с деканом факультета журналистики А. Бережным – еще в 60-х гг., ни “поверхностный” и вроде оставшийся без последствий интерес ко мне сотрудников первого отдела – в те же годы).

В Ленинградском подразделении ИСИ я числился партгрупоргом – должность сугубо формальная: не заглянув в архив, я бы сейчас об этом даже и не вспомнил. Другое дело – секретарь партийного бюро Института. Будь институт чуть побольше, это квалифицировалось бы как освобожденный партийный работник.

Так или иначе, возникла жизненная ситуация, которую пришлось для себя определить: “Посадили в сани – не говори, что не свои...”. Для меня главным оправданием пребывания на этом посту стала, пожалуй, не безуспешная борьба, как теперь сказали бы, за “прозрачность” организационного становления нового института. Из своих “партийных подвигов” вспомню один, кстати, имеющий отношение к сюжету, который упоминает Д. Шалин в своей Комментарии к серии твоих биографических интервью, помещенных ныне также на сайте Университета Невады в Лас-Вегасе.

Еще до образования ИСЭПа из научного коллектива, возглавлявшегося Ядовым, двое сотрудников заявили о своем намерении эмигрировать из страны. По этому поводу были всякие политико-идеологические разборки, подутихшие со временем. А Ядов в новом институте, естественно, возглавил социологический отдел. Тогда одна из сотрудниц сектора Ядова (фамилию ее “шестидесятилетние” помнят, а кто помоложе – знать не обязательно...), известная как изрядная скандалистка, обратилась с письмом в “Правду”, а затем еще и к секретарю горкома партии – с политическими обвинениями против своего шефа. Под давлением горкома Ядову пришлось подать заявление об освобождении его от обязанностей зав. отделом, мотивируя “необходимостью сосредоточиться на руководстве сектором” и т.п.

Партийное бюро в составе А. Алексеева, Г. Смирновой, О. Иванова, Г. Черкасова, Н. Толоконцева, Б. Фирсова и А. Когута на своем заседании 28 октября 1975 г. “рекомендовало” дирекции удовлетворить это заявление.

Мне тогда казалось особенно важным обнажить ситуацию “нажима” сверху, в связи с поступившей “телегой” снизу, исключить неопределенность, “кривотолки” – за что именно “Ядова сняли” (хотя бы и “по собственному желанию”). Сделано это было оригинальным, и даже, можно сказать, “самоотверженным” образом – путем “провокационного” предложения освободить В. А. от заведования отделом безотносительно к его заявлению. Члены партбюро – все! – возразили против этого предложения, выступили “в поддержку” заявления Ядова, к чему и секретарь партбюро благополучно присоединился (мол, в нашем партийном бюро все решения только единогласные!). Но по ходу этого обсуждения, достаточно откровенного и острого, стали “прозрачны” действительные пружины этого административно-политического решения.

Помню, я добрых полдня потом сочинял “изобличающий” Смольный на пару с доносчицей протокол на 4-х страницах, из которого явствовало, что решение это вызвано “рядом политических обвинений в адрес Ядова, фактической базой для которых были антипатриотические поступки (так тогда это называлось. – А. А.) двоих бывших сотрудников Ядова, работавших в его старом секторе, ныне покинувших нашу страну” (цитата из выступления Черкасова). Дело, мол, прошлое, но наказание пришло теперь, по настоянию (указанию...) секретаря горкома партии. Мол, несправедливо, но куда денешься... Никаких претензий по руководству отделом к Ядову нет... Поручить Алексееву информировать Ядова о ходе и результатах настоящего обсуждения.

Под этим реальным, а не формальным протоколом подписались все члены партийного бюро (важно еще было сообразить – кому после кого предложить

подписать). Ознакомлены с ним были не только райком партии, но и все социологи – члены партии, кто пожелал ознакомиться.

Однако продолжалось мое партийное секретарство меньше года. Дело в том, что еще летом 1975 г. состоялось исключение из партии старшего преподавателя кафедры психологии, научного руководителя лаборатории социологии Тартуского университета (Эстония) Юло Вооглайда. Одна из первых формулировок исключения – “за антипартийную деятельность и неискренность перед партией” (впоследствии смягчено до: “за непартийное поведение и отсутствие политической бдительности”).

Из письма в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС товарищу А. Я. Пельше от 27 июня 1975 г.:

“...Мое обращение к Вам, Арвид Янович, как Председателю КПК, – это личное обращение коммуниста. Я являюсь секретарем партийного бюро Института социально-экономических проблем АН СССР, но в данном случае выступаю от своего и только своего имени. К этому письму меня обязывает мой партийный долг. Я вступал в партию на 3 года позже Ю. Вооглайда, но я готов сегодня разделить ответственность с теми, кто рекомендовал его в ряды КПСС.

Копию этого письма я направляю в ЦК КП Эстонии...”

Когда Гелий Николаевич Черкасов узнал об этом письме (а два месяца спустя было еще и второе: “...подтверждаю свою готовность поручиться за Ю. Вооглайда своим собственным партийным билетом”), то схватился за голову: “Что Вы наделали, А. Н.!”

Странно, что дело обошлось без партийного взыскания. Меня устно отчитали в райкоме КПСС – за попытку использовать свое общественное (должностное?) положение “для оказания давления на ЦК нашей партии” (так!). Но уж больше в состав партийного бюро не выдвигали...

А от Вооглайда на Новый, 1976 год пришла открытка: “Дорогой Андрей! Усатый – это ты, пожалуй. Желаю тебе и в этом удачи. Твой Юло”. На обороте открытки был изображен эстонский крестьянин, подковывающий... черта!

...Ну, вот и суди сам, когда же мне и таким, как я, стало ясно, что КПСС “далеко не ум и не совесть эпохи”... Понимал это – не только когда восстанавливался в партии, на гребне перестроечной волны, но и раньше – когда в “год Оруэлла” исключали “...за написание и распространение клеветнических материалов на (так! – А. А.) советскую действительность...”, и еще раньше – в пору партийного секретарства, и еще раньше – примерно с 1968 г. А вот до этого, увы, не понимал. Но если бы уже тогда понял, то и жизнь бы, наверное, сложилась совсем по-другому. Впрочем, в биографии, как и в истории – нет сослагательного наклонения.

В те годы, когда ты восстанавливался в КПСС, ты понимал, что эта организация далеко не ум и не совесть эпохи..., что тебя тогда заставляло тратить силы, чтобы восстанавливаться? И после восстановления ты сразу вышел. Так?

Что касается, того, что заставляло “тратить себя” на восстановление в КПСС, то об этом столько написано в “Драматической социологии и социологической ауторефлексии” (том 2), что здесь не хочется повторяться. Главная формула моего ответа на этот вопрос была найдена сравнительно недавно (уже когда писал ту книгу): необходимая оборона (в том смысле, в каком рассматривает это понятие А.Ф. Кони: “вынужденное защищение от несправедливого нападения...”).

Можно сказать, что защищал умаленную честь, достоинство, ущемленные права, которые в той ситуации идентифицировались как... членство в КПСС. А ради таких ценностей тратить себя не жалко...

Сразу вышел из партии, как восстановили... Ну, не совсем сразу: полтора года прошло. Это было в июле 1990 г. Когда открылся XXVIII съезд. Когда стало ясно, что

этот социальный институт исторически полностью себя исчерпал. И не один я выходил, а “за кампанию” с большинством коллег. По-моему, с тобой вместе... Вспоминаю собрание на втором этаже, в здании на Серпуховской улице.

...А вот когда неправильно уволенный добивается восстановления на работе, и ему это (вдруг!..) удается, то часто сразу же увольняется. Ему не работа эта была нужна, а сам факт восстановления.... Улавливаешь аналогию?

Про партию мы поговорили, а про КГБ?

...Вообще, коммунистическая партия и “компетентные органы” – своего рода “близнецы-братья” (пользуясь метафорой Маяковского, примененной, впрочем, к В.И. Ульянову-Ленину). Партия – вроде бы старший брат, “органы” – младший. Причем исторически второй – более живучий и удачливый.

До середины 70-х моя персона для младшего из братьев интереса вроде бы не представляла, по крайней мере – внешних проявлений внимания с его стороны я почти не замечал. Но “наслышан” о его тогдашних подвигах был (да кто из гуманитарной интеллигенции не был!). Интересно, что до 40 лет никаких предложений “о сотрудничестве” мне не поступало. Единственное (впрочем, косвенное...) в 1976 г. оказалось и последним.

Я только что избавился от груза партийного секретарства, обнаружив свою “политическую незрелость” в связи с исключением из партии Ю. В. (см. выше). И вот приглашают меня – нет, не в Большой дом! – а всего лишь в комнату рядом с отделом кадров в здании нашего института на ул. Воинова (теперь – Шпалерная). Манера вглядываться в предъявляемые служебные корочки и даже записывать фамилию – у меня была (не знаю – откуда).

После общего “зондажа” (мол, желаем познакомиться..., и как Вам работается...) просьба – “помочь” профессионально, в качестве знатока и специалиста по “контент-анализу” (я таковым слыл), в разработке методик идентификации автора по характеристикам текста. (Может, это была “легенда” ихнего интереса, а может и впрямь нуждались, хоть и вряд ли; словно из “В круге первом” сюжет...). Ну, для меня это был “подарок” – повод закатить мини-лекцию о контент-анализе, из которой явствовало что “не по адресу” обратились. КА имеет дело с массовыми, а не индивидуальными характеристиками; исследование тенденций, а не определение авторства... Вам нужно не к социологам, а скорее – к психологам или лингвистам, если не к криминалистам...

Ладно, “отбоярился”. Уже прощаясь, мой собеседник неосторожно предлагает “не разглашать” наш разговор. “Это как же не разглашать? Я обязан сообщить в партийные органы. У меня от партии секретов нет!”. – “Ну, Вы ж понимаете...” – “Не понимаю. Вы пришли ко мне за профессиональной консультацией... Почему я должен это утаивать?”. Тот ушел, недовольный.

Первым, кому я сообщил о поступившем предложении насчет “научного сотрудничества” был мой коллега, с которым у меня вполне доверительные отношения, причем он – партгруппорг отдела. Тот сказал: “Андрюша! Я понял. Молчу!”. Я ему: “Я не для того тебе рассказываю... Ты ж мой партийный руководитель!” – “И что же мне делать?” – “Наверное, сообщить секретарю партбюро... Впрочем, как знаешь”.

Через пару часов встречаю в коридоре своего бывшего зама по идеологии, ныне сменившего меня на посту партийного секретаря. Как-то он многозначительно на меня поглядывает... Я: “Ты что-то хочешь спросить?” – “Чего же ты мне сам-то не рассказал?” – “А, ну ты для меня высокое начальство! Я по инстанциям...”. Из обмена мнениями стало ясно, что и райком партии следует информировать. Наверное, так он и сделал.

Уж не знаю как, но о беседе с бывшим секретарем партбюро нашего куратора с Литейного стало известно достаточно широко. Больше мы с ним никогда не

встречались.

(А теперь: “проверка памяти”... Партгруппоргом отдела в ту пору, помнится, был... ты! Вспоминаешь? Если да, улыбнемся вместе. Если нет, будем считать, что я рассказал анекдот).

Несколько лет спустя со мной все было гораздо серьезнее. Когда охотились за материалами андерграундного экспертного опроса “Ожидаете ли Вы перемен?”, был пущен в ход весь арсенал средств “компетентных органов”, кроме разве что подбрасывания наркотиков... И при обыске в 1983 г. безуспешно искали именно эти материалы, а вовсе не “Письма Любимым женщинам”. Мой экземпляр “писем...” забрали “на всякий случай”, а у Бориса Беликова (обыск – в тот же день) аналогичный экземпляр не тронули...

...Хорошо помню, как в Большом доме на Литейном, перед объявлением официального предостережения, мне почти без вопросительной интонации сказали: “Ну, своих опрошенных Вы, конечно, не назовете...”. Я счел уместным объяснить: “Конечно, нет. Это профессиональная тайна!” (А ведь не всех и знал!).

Сейчас уже вроде не актуально (хотя – как знать!..) но вбивание клина между “старшим” и “младшим” братьями (как никак – братья-соперники!), с одной стороны, и “высокомерная” постановка известных норм профессиональной этики выше подразумеваемых “государственных интересов” (“Вы ж понимаете!..”), с другой, в последние советские десятилетия оказывались довольно эффективными в “выстраивании” отношений с тогдашней политической полицией.

От мировоззренческого тоталитаризма к мировоззренческой «толерантности»

К какой философской школе, к какому философскому направлению ты себя относишь? Ты давно исповедуешь эту философскую религию или нашел ее относительно недавно? В любом случае, как ты относишься к марксизму? По-моему, ты один из немногих, кто читал фотокопии работ Маркса?

Твой вопрос вызывает у меня некоторое смущение: в самом деле, к какому “философскому направлению”, кроме марксизма, может отнести себя социолог, вышедший “из шестидесятых”, и кандидат философских наук 1970 года выделки? Мне бы не хотелось здесь отвечать слишком учеными рассуждениями о своей принадлежности к “философской школе”. Если одной фразой, то это было, думаю, движение от не критического представления о марксизме, как единственно правильном мироучении (которое, впрочем, должно развиваться, в соответствии со своей собственной “революционной сущностью”, полагал я со студенческих лет) к “трезвому” взгляду на марксизм, как на одну из множества философских систем, претендующих на объяснение мира, и, как всякая такая система, ограниченную в своих мирообъяснительных возможностях (думаю так сегодня). Если двумя словами, то это движение от мировоззренческого “тоталитаризма” к мировоззренческой “толерантности” и плюрализму.

То же, на более низком уровне общности, можно сказать и о теоретико-социологическом “кредо”, также эволюционировавшем от своего рода “фундаментализма” к “полипарадигмальности”. Думаю, что в этом отношении я вовсе не оригинален.

В центре моих первоначальных занятий “социологией прессы” (в аспирантуре и позже) стояли попытки создания марксистской версии “теории массовой коммуникации” и, думаю, в этих своих усилиях я был куда более истовым марксистом, чем тогдашние изготовители идеологической каши, предъявлявшейся, скажем, студентам факультета журналистики в качестве “марксистско-ленинского учения

о печати”. С другой стороны, ортодоксальная “марксистичность” моих теоретических опытов времен Кяэрику выглядела, пожалуй, несколько экзотично среди “нормальных” исследователей массовой коммуникации, предпочитавших (имевших возможность...) опираться на более “утилитарные”, частно-научные идеи западной социологии середины века.

Из работы начинающего социолога (1967):

“С развитием современных конкретных исследований в области эффективности прессы, радио, телевидения все острее ощущается необходимость в разработке понятийного аппарата теории массовой коммуникации в контексте марксистской социологии...”

Представляется неправильным распространенное толкование массовой коммуникации просто как одновременного обращения “одного ко многим”, обычно опосредованного совокупностью технических устройств (к этой дефиниции сводится большинство бихевиористских определений). Массовая коммуникация не есть технически оснащенное общение индивидов или “говорящего” индивида со “слушающей” массой. Субъектами общения здесь выступают социальные группы, выделяемые на уровне не ниже социального слоя или класса.

В каждом данном обществе с “массой” (классом, совокупностью классов, обществом в целом) “разговаривает” класс, принадлежащий к этой массе или антагонистичный ей (в капиталистическом обществе). Такова наша главная антитеза буржуазным концепциям массовой коммуникации.

Таким образом, всякий общественно-исторический тип массовой коммуникации оказывается процессом социально организованного обмена общественной информацией... одну из сторон которого составляет целенаправленное идеологическое воздействие на массы господствующей в данном обществе общественной силы (в социалистическом обществе в качестве такой силы выдвигается сам народ), а другая, эмпирически менее заметная сторона представлена обратным воздействием “адресата” на эту силу.

Взаимодействие понимаемых в указанном смысле субъектов в массовой коммуникации адекватно их взаимодействию во всех иных сферах общественной жизни и, в конечном счете, определяется взаимоотношением этих субъектов в области экономики. Из социально-экономического устройства данного общества и реальных интересов господствующей в нем общественной силы, при учете всего многообразия опосредующих факторов, могут быть объяснены конкретные проявления классовости, партийности (или мнимой беспартийности) массовой коммуникации, степень объективности в освещении событий социальной жизни, природа эффектов идеологического воздействия на массы, характер и степень влияния общественного мнения на содержание и формы коммуникации и т. д...»

Да простят меня читатели этого интервью за столь пространное автоцитирование. Но это куда информативнее, да и честнее, чем пересказывать или рассуждать о том, “откуда мы вышли” и т.п.

Впоследствии это теоретико-идеологическое построение получило развитие в “социологической модели массовой коммуникации”, элементами которой были: “социальный субъект 1”, “социальный субъект 2”, “средство массовой информации”, сама “массовая информация” и “массовая аудитория”. Первый субъект осуществляет информационно-пропагандистское (= массово-коммуникативное) воздействие на второго субъекта через свои институты (средства, органы) массовой информации, а второй субъект воспринимает воздействие первого через посредство своих собственных “институций” – массовых аудиторий.

Модель оказывалась универсальной, действующей как для буржуазного, так и для социалистического общества. Только для первого она “...особенно “прозрачна”,

поскольку взаимодействующие социальные субъекты здесь суть не только разные, но и антагонистически противоположные классовые силы (буржуазия и трудящиеся массы, народ)” (это я цитирую уже последнюю из своих работ на эти темы – из сборника “Массовая коммуникация в социалистическом обществе”, Л.: Наука, 1979).

А своеобразие социалистической массовой коммуникации состоит в том, что “...здесь обнаруживается специфическое “тождество” социальных субъектов 1 и 2, оказывающихся одним и тем же субъектом, только взятым в разных аспектах: как субъект информационно-пропагандистской деятельности и как субъект восприятия и потребления массовой информации. В качестве первого выступает передовой класс или общество в целом, в лице своего авангарда – Коммунистической партии (! – А. А.). В качестве второго – общество в целом, широчайшие народные массы”.

Ну, и заключительный аккорд, из работы “зрелого” социолога (1979):

“...Прогрессирующее “слияние” обоих социальных субъектов массовой коммуникации по мере продвижения к развитому коммунистическому обществу не исключает, а предполагает сознательное регулирование, программирование деятельности по производству и распространению массовой информации, осуществляемое управляющими центрами субъекта-общества в его интересах. Соответствие последним обеспечивает, в конечном счете, реализацию идеальной модели, выдвинутой еще молодым Марксом, применительно к исторически первому средству массовой информации и пропаганды: свободная пресса – это “язык народа обращенный им к самому себе” (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 44).

Итак, массовая коммуникация есть язык общества, обращенный им к самому себе. Общество становится действительным хозяином своего “языка”, поскольку сбрасывает с себя путы социального порабощения и неравенства и обретает способность контролировать условия собственной жизнедеятельности...”

В начале 70-х предполагалось, однако, не состоялось издание моей книги под названием “Язык общества, обращенный им к самому себе”. Академикам – членам редакционно-издательского совета АН СССР показалась (и, пожалуй, не без оснований...) слишком вычурной апелляция к молодому Марксу в заглавии. В 1973 году та же рукопись, но уже под скромным названием “Средства массовой информации”, успела пройти все стадии редподготовки в Ленинградском отделении издательства “Наука”. Как вдруг – скандал вокруг книги Эльмара Соколова “Культура и личность”, вышедшей годом раньше в том же издательстве, и резкое повышение научно-идеологической бдительности.

Издательское заключение на рукопись моей книги, подготовленное после экстренного дополнительного рецензирования, завершалось словами: “...Увлечшись конструированием «специальной социологической теории массовой коммуникации», он (автор. – А. А.) уже на исходных позициях выпустил из вида значение общей социологической теории – исторического материализма...”

Вместо марксистского учения о базисе и надстройке... автор пытается вывести «модель» коммуникации на институциональном уровне, исходя из некой абстрактной общей структуры деятельности... Он строит свою теорию «субъект–1» и «субъект–2», где сама целесообразная деятельность как особый момент исчезает, а под субъект–1 и субъект–2 можно подставить или отдельные индивиды (так! – А.А.), или классы – схема работает в любом случае.

Как хорошо показал в своей рецензии на рукопись проф. В.Я. Ельмеев, это соответствует попыткам западных социологов растворить общественные отношения в деятельности, и все последующие совершенно верные рассуждения автора о классовой сущности массовой коммуникации, коренных различиях между социалистической и буржуазной прессой и т.д. изменить ничего не могут: все здание теории А.Н. Алексеева оказывается без марксистского фундамента, оно стоит на песке позитивистских

концепций...

По вышеизложенным причинам мы считаем, что: работа А. Н. Алексеева издана быть не может, а поскольку речь идет не о частных недостатках рукописи, а о ее ошибочной методологической основе, это не позволяет говорить и о какой-либо доработке.” (сентябрь 1973).

В то время в советской общественной науке были представлены три “разновидности” марксизма: “творческий”, “ортодоксальный” и “дремучий”. Для последнего второй был не менее неприемлем, чем первый.

Ибо вышеприведенная последовательно марксистская концептуальная схема если не доказывала, то “намекала” на отсутствие “тождества” (чтобы не сказать противоположность...) интересов “социально-классовых субъектов 1 и 2”, отношения которых полагались лежащими в основе эмпирически наблюдаемого взаимодействия между СМИ и их аудиториями в социалистическом обществе.

Вообще, марксизм – такое большое и глубокое озеро, из которого множество рек вытекает (да еще переплетаются друг с другом по ходу течения). И вульгарный экономический детерминизм, и взаимоналожение социокультурных и политических факторов, и деятельностная природа социально-исторического процесса, и подчинение личности “общественным интересам”, и “абстрактный гуманизм” (молодого Маркса).

...Никаких фотокопий работ Маркса я, разумеется, в руках не держал. Но вот немецкоязычными оригиналами, особенно ранних произведений, интересовался, а также пытался прояснить для себя некоторые термины из русскоязычного марксистского тезауруса, путем сопоставления их с соответствующими немецкими терминами, а также их переводами на английский и французский. (Это было в 70-х гг., в пору активного самоутверждения в нашем обществознании понятия образ жизни).

Оказывается, очень многое в советской социологии зависело от того, как были в свое время переведены на русский такие использовавшиеся классиками немецкие слова, как *Tätigkeit*, *Verhalten*, *Verhältnis*, *Verkehr*, *Wert*...

Из понятий, более или менее обиходных в марксистском дискурсе (но и не только в нем, разумеется...), ключевыми для меня, от начала занятий социологией и до настоящего времени, были и остаются: деятельность и субъект (последний – не в сугубо-гносеологическом смысле: субъект – объект, а близко к тому, в каком сегодня употребляют термины “актор” или “агент”). Для освоения первого понятия существенным в 60-е гг. для меня было влияние Г. Шедровицкого, для включения же в активный оборот второго – влияние Б. Грушина (в обоих случаях влияние – заочное). В частности, из книги Грушина “Мир мнений и мнения о мире” (1967) было почерпнуто мною, автором “социологической модели массовой коммуникации”, представление о “коллективном”, или групповом социальном субъекте.

В своей недавно вышедшей работе “Современная теоретическая социология как концептуальная база российских трансформаций” (2006) В. Ядов пишет:

“Суть деятельностно-активистского подхода: отказ от идеи диктата “естественно-исторических” закономерностей социального прогресса в пользу утверждения принципа “социально-исторического” процесса, не имеющего жестко заданного вектора, ибо решающую роль в современных обществах играют деятельные социальные субъекты (агенсу), включая научно-технические открытия, социальные движения, легитимных лидеров, массы обычных граждан” (с. 7 указанной книги).

Похоже, что всю свою “социологическую жизнь” я так или иначе тяготел именно к этому подходу, и из классического марксистского наследия с давних пор извлекал именно его. (Кстати, и в методологии андерграундного экспертно-прогностического исследования “Ожидаете ли Вы перемен?” рубежа 80–90-х гг. он представлен достаточно ярко; см. “Драматическую социологию и социологическую ауторефлексию”: главу 1 – в томе 1, и главу 25 – в томе 4).

Из современных российских авторов отчетливее всего указанный подход реализует, мне кажется, Т. Заславская (своей “деятельностно-структурной концепцией” социетальной трансформации российского общества).

Весьма значимыми и перспективными для меня сегодня представляются опыты синергетической интерпретации общественных процессов. Ну, в отличие от деятельностного подхода, усмотреть “истоки” синергетического – в марксистской социально-философской традиции, пожалуй, невозможно.

Здесь замечу, что “разочарование” в марксизме, или его развенчание, как “всесильного, потому что верного” мироучения, было последним в цепи моих мировоззренческих разочарований от 50-х к 80-м годам: сначала – Сталин, потом – советский социализм, потом – социализм вообще и, пожалуй, одновременно, Ленин, и, наконец, – Маркс. Моей, пожалуй, индивидуальной особенностью, по сравнению с многими ровесниками, было относительно замедленное движение по ступенькам и относительно позднее восхождение на вершину этой “лестницы прозрения”.

...Что же касается все более безусловного обнаружения несоответствия социальной реальности марксистским схемам (о чем уже шла речь и ранее), то, кто как, а я долго не уставал искать тому те или иные “конкретно-исторические” объяснения (и оправдания...).

В качестве общего алгоритма таких оправданий (еще в конце 60-х гг.) для меня выступала, например, опора на французского марксиста Луи Альтюссера. Тот развивал идею о “сюрдетерминации” исторических факторов. Альтюссеру принадлежит броская формула: “В истории исключение из правил есть правило правил”. (Что-то вроде “идеальных типов” М. Вебера, которые никогда не реализуются “в чистом виде”...). Тем самым как бы снималась острота противоречия между марксистской теорией и исторической практикой...

Я сейчас, говоря о двух первых поколениях советских / российских социологов, выделяю «шестидесятников» и «шестидесятилетних». Ясно, оба названия, особенно второе, условны. Какое поколение тебе ближе? По мироощущению? Мне представляется, что родившиеся в 1929 году (и вблизи) верили в возможность улучшения социализма, те, кто родился в районе 1941 года – уже в это не верили, родившиеся вблизи 1953 года – считали социализм ошибочным типом устройства общества. Есть ли в таком поколенческом подходе правда?

О мировоззренческих различиях поколений существует большая литература. Я скажу только о социологах.

Я не думаю, что поколение моих старших коллег было в целом более наивным, чем мое или даже, чем поколение младших (сам я отношусь как бы к промежуточному между родившимися в конце 20-х и в начале 40-х поколению). Во всех этих профессиональных “когортах” наличествовал и определенный идеологический наив (постепенно улечивавшийся...), и та или иная степень “двоемыслия”. Кроме того, существенной является историческая динамика, а также особенности семейной истории и индивидуальной биографии. Я пытался рассказать о собственной идейной эволюции. У иных моих ровесников (да и старших...) эта эволюция могла заметно опережать мою.

Что же касается родившихся в 50-х, в частности, ровесников XX съезда, то они (обычно именуемые “семидесятниками”) никаких иллюзий уже пережить или нести в себе не могли. Они более прагматичны, так сказать, “сознательно адаптивны”, сугубо профессионально ориентированы и далеки от “прекраснодушия”.

(На этом месте набросок биографического интервью, перешедшего уже на темы собственно интеллектуальной биографии, обрывается. А. Алексеев).

Как сложилась идея драматической социологии? Я имею в виду и суть книги, и ее жанр, и термин...¹

Будем различать жанры — исследовательский и литературный.

Начну с первого. Драматическая социология, в моем понимании, это определенный способ (жанр...) исследования, в рамках того, что принято называть деятельностно-активистским подходом в социологии (ныне обретающем все больше приверженцев). Другая родовая характеристика “драматической социологии” — это принадлежность к тому, что называют микросоциологией. И, наконец, речь идет об одной из вариаций “субъект-субъектной” (в отличие от “субъект-объектной”), гуманистической, качественной (в смысле — “качественные методы”...) социологии. В “драматической социологии”, как правило, имеет место исследование случаев (что вовсе не исключает амбиции социальных обобщений...). [2]

Указав на родовые признаки, обратимся к специфике.

Основным методом “драматической социологии”, по-видимому, является **НАБЛЮДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ**. В отличие от участвующего (или включенного) наблюдения, предполагающего максимальную “мимикрию” исследователя в изучаемой социальной среде (быть и поступать “как все”, наблюдая и фиксируя естественное развитие ситуаций и процессов), наблюдающее участие предполагает изучение социальных процессов и явлений через целенаправленную активность субъекта (исследователя...), делающего собственное поведение своеобразным инструментом и фактором исследования. Причем, в отличие от известных образцов социального эксперимента, в случае наблюдающего участия новые факторы вводятся не “извне”, а “изнутри” ситуации. Само введение этих факторов оказывается иногда импровизационным и не претендует на строгую процедуру.

Особое место здесь занимает исследовательская практика так называемых **МОДЕЛИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ**. Под таковыми понимаются ситуации, отчасти организованные самим исследователем из естественных ситуационных предпосылок, в целях обнажения, заострения, в этом смысле — моделирования социального явления или процесса.

Лет 20 назад мне довелось — признаюсь, вовсе не в “научном трактате”! — провозгласить что-то вроде исследовательского кредо или девиза “драматической социологии”: “познание через действие”. (Можно сказать и еще лаконичнее: “познание действием” — формулировка А. Ющенко). Причем именно за счет “социологического действия” (понимаемого предельно расширительно...) достраивалось до триады известное различие социологической теории и социологической эмпирии. [3]

Еще один термин, уместный в этом контексте: **СОЦИОЛОГ-ИСПЫТАТЕЛЬ**. В “драматической социологии” обычно имеет место своего рода профессионально-жизненный, социально-личностный эксперимент (иногда говорят: “эксперимент на себе”, но это звучит слишком красиво).

Может быть, ты заметил, что первый из 4-х томов “[Драматической социологии и социологической ауторефлексии](#)” так и называется: “В поисках жанра”... Речь идет главным образом об исследовательском жанре.

...Но тут, пожалуй, стоит оговорить, что только к “действию” этот способ исследования не сводится, существенны еще и “рефлексивная феноменологическая надстройканаблюдениями-описаниями-идентификациямиплюсконтекстуальный анализ”, как “саморазвитие метода наблюдающего участия” (формулировки Р. Ленчовского). Уже сами по себе описания, “протоколы жизни”, они же — рабочие

¹ Нижеследующая часть интервью опубликована в составе статьи: Алексеев А. Н. Познание через действие (Так что же такое «драматическая социология?») // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2006, № 5.

документы исследования, своего рода “полевые дневники”, являются неотъемлемым элементом исследования, как такового. [4]

Мне еще хотелось бы обратить твое внимание на отличие драматической социологии (в изложенном смысле) от “социологии действия” и “социологической интервенции” (по Турену). Дело в том, что туреновская социология действия — это не просто (не только) исследовательская практика. Здесь присутствует также момент социальной педагогики, своего рода “внесения сознательности в стихийность движения” (что подтверждается, например, опытом применения метода социологической интервенции в “студенческой революции” во Франции в конце 60-х гг. прошлого века).

Между тем, социолог-испытатель, как исследователь, не претендует на организацию “коллективной борьбы”. В случае наблюдающего участия исключено (запрещено!) всякое действие, которое не было бы продиктовано аналитической и/или деловой и/или смысложизненной задачей (соответственно, комбинацией этих задач и мотивов). [5]

Другое необходимое размежевание — между “драматической социологией” (в изложенном смысле...) и драматургической социологией Ирвинга Гофмана. Должен, не без смущения, признаться, что о последней я до середины 90-х гг. и не слыхивал. Теперь же замечу, что если у Гофмана все социальные и межличностные интеракции интерпретируются “в театральном ключе” (“Wir alle spielen Theater”...) [6], то в “драматической социологии” речь идет лишь об игровых моментах в поведении исследователя.

Термин **ДРАМАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ** относится мною к тому “жанру” социологического изыскания, где происходит соединение (интеграция?..) практической деятельности, рефлексии и игры (с социальным объектом...), которое в таком случае пытается осуществить социолог (он же — своего рода драматург и постановщик “социологической драмы”; не путать с “социодрамой”...). И еще одно, пусть не столь специфичное (поскольку, относимо, полагаю, и не только к обсуждаемому исследовательскому подходу) определение: “драматическая социология” — принципиально диалогична и интерактивна (это может быть диалог, взаимодействие исследователя и с непосредственным социальным окружением, и с социальными институтами...). То есть это — коммуникативная социология.

Теперь, насчет истории терминов. Наблюдающее участие, моделирующие ситуации, социолог-испытатель — вышли из писем-дневников социолога-рабочего начала 1980-х гг. Ставя тогда “социологическую драму” исследования производственной жизни изнутри, “глазами рабочего”, я испытывал своего рода эйфорию овладения новой жизненной (и профессиональной...) ситуацией и, можно сказать, фонтанировал новыми понятиями и оригинальными терминами. Среди них, например: вынужденная инициатива (“инициатива, направленная на предотвращение неблагоприятных последствий ее отсутствия”), адаптационное нормотворчество, социально-опережающее поведение... В первых публикациях на эту тему говорил об опыте экспериментальной социологии... Выражение “драматическая социология”, кажется, было употреблено пару раз, но еще не как термин, а скорее метафорически.

Но вот в середине 90-х, при доработке рукописи книги об “эксперименте социолога-рабочего” (она вышла в издании Института социологии РАН в 1997 г.), я отказался от первоначально задуманного, слишком академичного названия — “Познание через действие”, и озаглавил свое сочинение (“беззатей”...): “Драматическая социология”. Вскоре сообразил, что это может быть и терминологическим обозначением исследовательского подхода. Тогда ввел в предисловие обоснование (оправдание...) термина.

Не скажу, что термин идеально подходящий (так, “драматическую” недолго

смешать с “драматичной”... а это, очевидно, разные вещи, хоть может и совпасть...). Но лучшего сам, наверное, уже не предложу.

Кажется, жанр исследования я охарактеризовал. [7] Теперь о “жанре литературном”, или о жанре книги “[Драматическая социология и социологическая ауторефлексия](#)” (в дальнейшем для краткости — “Драматическая социология ...”), вышедшей в 2003-2005 гг.

Все четыре тома этой не совсем академичной книги по существу являются собраниями (композицией...) документов. Документы личные и публичные; житейские, деловые, научные... Хоть личное письмо, хоть дневник (“протокол наблюдающего участия”), хоть справка или обращение в официальные органы, хоть газетная заметка или научная статья — любой письменный “след” биографии и истории, будучи поставлен в определенный контекст, может обрести смысл социологического свидетельства. Сама же по себе композиция (отбор свидетельств и расположение их в определенных сочетаниях и последовательности, своего рода монтаж...) выступает способом первичной концептуализации, а в определенной мере — также и анализа и осмысления.

К особенностям такого “документально-социологического” жанра относятся множественность и “столкновение” различных приемов описания и индивидуальных интерпретаций, будь субъектом описания или интерпретации сам автор — в разное время! — или же другие люди, которым предоставляется слово на страницах книги:

Иосиф Бродский не однажды отмечал главенствующее значение композиции, этого “драматургического принципа”, во всяком творчестве. Не удержусь, чтобы не процитировать его письмо другу (Я. Гордину) из ссылки (1965):

“...Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспиром). Жизнь отвечает не на вопрос: что? — а: что после чего? И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным “что”. Иначе не ответишь. Это драматургия. Черт знает почему, но этого никто не понимает. Ни холодные люди, ни страстные...” (Гордин Я. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб.: Изд-во “Пушкинского фонда”, 2000, с. 137-138).

Мне кажется, что адекватным способом представления результатов исследования в жанре “драматической социологии” является именно композиция (иерархия композиций, или “композиция композиций”...) материалов этого исследования. Причем жанр “Драматической социологии...” (книги!), предполагает попытку сюжетного выстраивания произведения, где результаты исследования предстают не готовыми, а развивающимися в процессе их получения. (В данном случае сквозным сюжетом оказался “эксперимент социолога-рабочего”, продолжавшийся с 1980 по 1988 г., с включением множества побочных, “привходящих” жизненных и исторических сюжетов и обстоятельств).

Некими прообразами, или первыми подступами к этому жанру для меня оказались... тематические папки личного архива, где документы обычно располагаются в хронологическом порядке. Тематико-хронологическим является и принцип построения “Драматической социологии...”.

Стоит отметить, что при всем разнообразии текстов, составляющих “строительный материал” книги, пожалуй, преобладающими и ведущими являются именно письма, адресованные, как правило, конкретному лицу, но сочетающие при этом элементы коммуникации другому лицу (“письмо”), самому себе (“дневник”) и для других (“статья”). [8]

И еще об одной важной, как я считаю, жанровой особенности. Это практика сопровождения документов прошлого (включая собственные тексты автора...) или даже отдельных пассажей из этих документов авторским комментарием “из сегодня”. Я называю эти комментарии ремарками (тоже, кстати сказать, из драматургического

лексикона...). Однако именно документы прошлого, “жизненные свидетельства” и т. п. составляют основной корпус книги такого жанра (а ремарки, иногда и весьма развернутые, — по мере необходимости!). В этом, кстати, принципиальное отличие от мемуаров, где документы присутствуют в лучшем случае в качестве эпизодических цитат.

Всю эту многосложную структуру, переплетение сюжетов, времен, жанров, автор полагает уместным прозрачно представить в подробном оглавлении, которое выступает в качестве также и своего рода путеводителя. Ибо рассчитывать на то, что кто-либо согласится читать, к примеру, свыше 2000 стр. “от корки до корки” не приходится. Но каждый читатель, взяв такую книгу в руки, может поискать в ней для себя полезное или интересное.

При избытии со-авторов (они же — чаще всего — со-акторы, со-участники описываемых в книге событий, наряду с самим “социологом-испытателем”) книга разрастается в объеме, вопреки авторскому желанию. И лично я испытываю некоторую неловкость перед читателем за излишне толстые тома. Но так уж получилось...

В известном смысле, есть у этой книги образец, которому, автор, может, и следовал бы, кабы сам не “додумался”, а точнее — нашел, нащупал (хоть и не столь совершенное, а свое...). Это “исповести” нашего старшего современника философа и культуролога Георгия Гачева.

Его “Семейная хроника” (1994), как, впрочем, и почти все его произведения, построена как “перепечатка” записей одного периода жизни, комментируемых по ходу дела им же самим, “сегодняшним”. И получается: диалог с самим собой. Вот как [Г. Гачев](#) объясняет — “идею предпринимаемого труда, а с нею — и метода”:

“...Конечно, совершавшиеся на ходу записи тех лет (1969-1971. — А. А.) имеют ценность неисправимой достоверности, я их ретушировать не буду, править слог и благообразить: в них именно и характер (“персонаж — это стиль!” — так бы хотел, афоризм даже предложить, но вспомнил, что почти повторяю Бюффона: “Стиль — это человек” — что же! — и слава Богу, подтверждение... Хотя я имею в виду еще и то, что персонажами литературного произведения и текста могут быть его стилистические пласты), и дух места того времени, и аромат жизни. Разумеется, придется выбирать, не все давать (место не позволяет и то, что я еще живой); но то, что дается, идет как было написано, честно. Если же я буду вступать в диалог с самим собой или комментировать, то новые мои слова будут обозначены своими датами. Двухголосие выйдет. Втора...” (Г. Гачев. Семейная хроника. Лета в Щитове (исповести). М.: Школа-пресс, 1994, с. 10).

Так именно поступал и я. Как видно, в жанре “[Драматической социологии...](#)” автор далек от первооткрывательства. Все мы — так или иначе — “изобретатели велосипедов”... Хоть в рамках нашей социологии и можно, пожалуй, говорить об определенном “ноу-хау”.

Пожалуй, мне следует остановиться, чтобы не злоупотребить твоим приглашением поговорить о жанрах “драматической социологии” и/или “Драматической социологии...”. Что здесь не успел сказать — можно найти в предисловии и в заключении моей книги, а также в соответствующем разделе тома 2: “Что сказать мне удалось — не удалось”.

...Когда-то, в 1970-80-х гг., мы с тобой увлеченно занимались социологией театра. На любого из нас, социологов — участников группы “Социология и театр” при Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества — прикосновение к этой сфере, думаю, наложило свой отпечаток. По крайней мере для изобретателя (автора, адепта...) “драматической социологии” в этом сомневаться не приходится.

Хорошо. Но можно ли сказать, что драматическая социология это, кроме всего

тобою перечисленного, и определенный жанр твоей жизни?

Да, рискну добавить к сказанному еще одно, пожалуй, даже “нескромное” определение: драматическая социология как... своего рода стиль (тоже жанр?..) жизни!

В какой-то момент (похоже, в конце 70-х — начале 80-х), в частности, у будущего автора (изобретателя?.. открывателя?..) “драматической социологии” произошла такая оригинальная сверхидентификация с профессией, когда собственная жизнь стала восприниматься как объект и инструмент (обрати внимание — и то, и другое!) некой социологической штудии. Социология стала жизнью, а жизнь — социологией.

Интересно, что вместе с тем это было и своего рода “выходом за рамки...”, “выпрыгиванием...” из профессии, ибо решение неких жизненных, сугубо практических задач (запуск ущербного станка или оборона от гебешного наката или еще что...) лишь с изрядной долей условности можно трактовать как тематизированное “социологическое исследование”.

Единственное, что вроде бесспорно, это что то были акции если не исключительно, то также и социально-познавательные. (А не есть ли вся наша жизнь — в известном смысле — познание мира и себя, или себя и мира?). А тут уже поле не только для “драматической социологии и социологической ауторефлексии”, но и для драмы социального миро- и самопознания.

Я это сейчас к тому, чтобы избежать абсолютизации или фетишизации социологического знания, как такового. Т. е. не обязательно быть социологом для постановки ауто-экспериментов и т. п. Равно как и “драматическая социология”, разумеется, есть лишь предельный (маргинальный?..) случай социологического подхода, переходящий в нечто совсем иное (не только не социологию, но даже, может, и не науку... А во что?!)..

Твоя «драматическая социология» — это одновременно и автобиография, и «просто» биографическая книга, которую пишешь как бы не ты, но о себе. Я читаю твои тома с большим интересом, они стимулируют мои поиски. Но на один вопрос я не могу сам ответить... может, ты ответишь?

При изучении биографий и творчества моих героев я стараюсь увидеть сделанное ими как функцию их жизни в определенной среде. Можно ли сказать, что постижение себя, или не себя, но человека, очень похожего на тебя, стало в какой-то момент главной научной целью твоих изысканий? Т.е., еще не зная того, что тебе предстоит написать (создать) «драматическую социологию», ты начал постигать реальность, действуя в ней, и испытывать себя, участвуя или не участвуя в происходящем. Другими словами, «драматическая социология» — это и процесс твоей деятельности (т.е. внутреннее, или «автобиография»), и главный результат твоей работы (т.е. «биография»).

Твои рассуждения о связи особенностей жизненного процесса (биографии...) и специфике творческого результата (включая научные результаты...), точнее — о зависимости второго от первого, в социокультурном контексте, мне вполне созвучны.

Вообще, как ты мог заметить, я являюсь адептом “личностного знания” М. Полани. [9] А Вернадскому, между прочим, принадлежит замечание о том, что “познать научную истину... можно лишь жизнью”.

...У великих Дэвида Огилви и Джорджа Гэллапа, о которых ты много пишешь, жизнь и творчество все же не совпадают, хоть первая и есть “база творчества”, “резервуар стимулов” и т. д. У других великих (воздержусь от примеров...) “взаимоналожение” того и другого гораздо сильнее, в пределе — процесс (жизни...) и результат (творчества...) неразсторжимы.

О себе скажу так: осознание собственной жизни как своего рода объекта

или предмета “включенного наблюдения” (а, в силу определенных особенностей жизненной позиции, и “наблюдающего участия”...), у меня возникло где-то в конце 70-х. В самом уходе из института на завод экзистенциальный мотив поначалу все же преобладал над профессионально-социологическим (впрочем, вскоре они сравнялись по значимости...). Но в качестве социолога, каковым я продолжал себя считать, мотив само-познания уступал мотиву миро-познания. Так мне сегодня это ретроспективно видится.

Иначе сказать: хотелось бы все-таки думать, что “драматическая социология” преследовала цель не только и не столько “постижения себя” (для этого не надо быть социологом...), сколько постижения мира, социальных явлений и процессов и т. п. И содержательным результатом явилась не только и не столько “биография”, сколько картина социального мира, полученная специфическими “автобиографическими” средствами. Насколько картина эта “научна”, “объективна”, “достоверна” — другой вопрос... Демонстрация возможности и потенциальной эффективности такого способа социального (социологического?) познания (разумеется, в сочетании со всякими другими!..), возможно, есть главный методологический результат “драматической социологии”.

Признаться, этому методологическому результату я придаю значение не меньшее, а даже большее, чем содержательному. Не думаю, что с помощью “автобиографических” средств мне удалось открыть неведомые ранее социальные закономерности, но вот новый подход к их постижению, пожалуй, предложен и апробирован.

Примечания

1. Алексеев А. Н. [Драматическая социология и социологическая ауторефлексия](#). Тт. 1-4. СПб.: Норма, 2003-2005.
2. Как замечал Гете, “хорошо увиденное частное может всегда считаться общим”.
3. Автостенограмма выступления на отчетно-выборном собрании СЗО Советской социологической ассоциации 1987 г. полностью приводится в конце настоящей публикации.
4. Один коллега пытался меня убедить, что без “протокола” (т. е. оперативной фиксации наблюдений) можно обойтись... Вот тут, мне кажется, и пролегает грань между наукой и не наукой, или, точнее, между эмпирическим исследованием и иными формами познания.
5. Хотя в определенных обстоятельствах может возникнуть самоорганизация окружения социолога-испытателя вокруг предмета его исследования. (Наглядный пример — “дело” социолога-рабочего, рассматриваемое в настоящей публикации ниже).
6. Дословно перевести с немецкого затруднительно. Ближе всего к этому известно : “Весь мир — театр...”
7. Хочется также воспроизвести здесь одну из самых ранних характеристик исследовательского подхода, или метода “драматической социологии”, из писем-дневников 1980 г.:
“...В чем специфика моего исследования (да, пожалуй, и способа жизни сегодня)? Уже приходилось высказываться против включенного наблюдения в пользу наблюдающего участия (метода близкого к социальному экспериментированию). Так вот, меня интересуют прежде всего не высказывания, не мнения и даже не факты, индивидуализированные или массовые, а — ситуации, имеющие достоинство модели.

Моделирующие ситуации.

“В каждой луже — запах океана, в каждом камне — шорохи (или “веянье”? — не помню!) пустынь” (Н.Гумилев).

Но чтобы в капле лучше отразилось море, полезно ее сгустить. Можно сгустить силой художественного воображения, как в искусстве... Силой так называемого домысла к факту, как в публицистике... А можно сгустить — в самой жизненной практике, собственными действиями, способствующими превращению заурядной ситуации в моделирующую.

Оригинальный жанр творчества, которому можно найти аналог разве что в Театре. Но там пока еще остается какой-то барьер между сценой и зрительным залом. Да и зритель — хоть и “со-творец”, но не со-автор и не со-актер... В театре — сначала пишут (драматург), потом ставят (режиссер), потом играют (актеры) и сопереживают (зрители).

А тут все перемешано! И даже отчасти наоборот: сначала играют (иногда — не успев как следует срежиссировать), а потом пишут, осмысляют. Сначала действие, потом текст (ну, хотя бы этот)....” (Цит. по: Алексеев А. Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб: Норма, 2003, с. 178-179).

8. Алексеев А.Н. Дневник, письмо и статья как соотносительные формы коммуникации / XII Любимцевские чтения. Ульяновск: Ульяновский гос. педагогический университет, 2000. Эта работа включена и в книгу: А. Н. Алексеев. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1..., с. 299-303.

9. Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985.